

Николай ЖЕЛЕЗНЯК

ПРОВОДЫ

Рассказ

На краю села она остановилась, отдышаться. Ей не хватало воздуха. Больше от волнения.

Помнил ли Олег Николаевич, как в наполненной ночными шорохами хате босиком, в одной ночнушке она в полубомороке стояла во мраке напротив отведенной ему постели и ожидала, что он тихо, чтобы не разбудить ее мужа, позовет к себе? Она и сейчас была уверена, что гость их не спал, хотя и ничем не выдавал бодрствования...

Теплые ночи, весна окончательно установилась. Огромная полная луна висела позади.

Ставни соседнего дома не закрыты, и она отважно посмотрела в темень омута оконного стекла, себе в лицо. В сумеречной подсветке месяца овал виделся молодым, морщинок не заметно. Она поправила ореол черной челки, взбила немного, позадорнее, и тут же растрепала: бессмысленные надежды.

Всю дорогу прошла пешком, торопилась так, что сбила ноги. Давно ненадеванные босоножки натрали. Когда-то нарядные, праздничные, они были извлечены из небытия громоздкого чемодана, запылившегося под кроватью серым мохнатым покрывалом. Почти бежала сюда, к этому невысокому штакетнику, за которым прорисовался на ночном небе, подсвеченный огнями собственных окон, дом с черным квадратом открытого чердака. Для заселения кукушкой. Аиста хозяевам ждать поздно.

Калитка скрипнула, входная дверь стукнула. И еще приподняв остро торчащий вверх подбородок, она вошла, к звукам многих голосов.

Провожали пожилого мужчину, усаженного на почетное место во главе стола, составленного из нескольких, что скрывали цветастые клеенки, наброшенные внахлест. Поутру Олег Николаевич уезжал в Сибирь, домой. Седина, конечно, и возраст уже, но какая выправка, и сухой, резкий очерк лица. И взгляд бледно зеленых мягких глаз. Взгляд на нее. Олег Николаевич опустил наполненную до краев граненую рюмку на столешницу, слова тоста не успели прозвучать. Митя Мельник, хозяйнуя, предложил ей присесть. Замахал лопатищами – лопасти мельницы – рук. Да и гости приветственно загудели. Вернее, мужчины высказались одобрительно. Женщины переглянулись, покивали. Незамужняя, да. Однако, вдова. И тем не менее.

Хозяйка поставила перед ней тарелку, шутя, предложила ухаживать за собой. Что-то говорили вокруг все, балакали о том, о сём, с привычным южным тюканьем. Разговор метался через стол замысловатыми переплетами, обрывался, зачинался, перескакивал.

– Ты послухай, что Олег Николаевич кажет, когда еще умного человека доведется. В нашем-то захолустье. Дальний путь, сколько часовых поясов.

Выпили за Олега Николаевича. Другой раз. Не опять, а снова. За хорошего человека не грех. Только пригубляла она.

Рядом к нему не подсесть. Женщин разместили на противоположном краю стола. Не перекинутся с ним словом. Не сказать, что на душе. Не высказать. Еще раз встретились их взгляды. Передайте соль, пожалуйста. Обратиться неудобно. Смотрят, казалось, все на них. Кто не в упор, в глаза, так исподволь. А что они знают? Сплетни одни.

Наконец запели. Она не решилась начать, и Настасья завела высоким своим голосом. Подпевала и она, но не перетягивая на себя. Еще песню затянули. Шутки, смех. Удержала пальцами скользкую прозрачную косынку. Сползла с плеч, открыв шею: случайно.

Она так посидела-посидела и ушла, – всё не о ней разговаривают. Вернее, он не замечает. Ведь за-ради него пришла. Не видит, не хочет видеть. Значит, так пусть и будет, так пусть и остается. Раз так сложилось. Другого уж не случится в жизни.

Бабам сказала, нужно за коровой больной посмотреть. Всё как у всех, живность в каждом дворе. Нашла предлог, сослалась на занятость.

Он вышел из-за стола за ней вслед. Сознавал, все догадаются о причине, но ничего не мог поделать с собой, не мог не выйти. Сразу и без повода. Увязался хозяин, Дмитрий, поняв отлучку как перекур. Хлопнул по плечу, он улыбнулся в ответ. Решал же, колеблясь: проводить ее, или не нужно? Можно или нельзя. Как уйти от людей, собравшихся из-за него, жажда общения. Невозможно, нет, никак. Или просто пойти – и всё.

Задержалась за воротами на дорожке, и он приблизился, войдя в густую лунную тень от высокого вяза. Привычно прячась от солнцепека, или боясь видеть друг друга? Блеснули глаза на мгновенье, и опять опустила пушистые ресницы, скрыв золотые блески на дне синих озер.

– Мария, рано уходите. Он запнулся с недодуманным продолжением. Прощаться надо.

Угощающе Дмитрий протянул раскрытую мятую пачку сигарет некурящему гостю. Он облизал пересохшие губы. Ее не разглядеть вдосталь во мраке, а как рядом она, не забыть. Светлые волосы, смуглое лицо, двойной изгиб дуг бровей, улыбка с ямочками. И черный рот, – девически припухлые губы.

Он хотел, хочет предложить, сейчас предложит – проводить ее, ну хоть до поворота. Кто-то еще выдвинулся на крыльцо. Из чрева дома в приоткрытую дверь донесся сдержанный хохот застолья. Может, свернув за угол, с глаз следящих долой, он решился бы и пошел с ней дальше, решится и пойдет дальше, до самой ее хаты. Но Дмитрий уже зовет обратно, продолжать. Бойтся потерять желанную незаигранную игрушку.

– Гости ждут. Еще расскажите за те волны и свет.

Да, свет заливает ее всю. Удаляется отчетливая чеканно стройная фигура, колышется блестящий подол платья, движимый не уверенными в правильности выбора, заплетающимися ногами, – в бесконечность. Идет по дорожке вдоль невысокого прозрачного забора, оглядывается: на прощание. Простились уже они. И нечего сказать больше. Вот-вот исчезнет во тьме.

Он знал, куда она пойдет, весь ее путь, самолично не раз хоженный. Сейчас за околицей, с трескающегося поперечными натужными жилами асфальтового большака, она тут же, не пугаясь живущей впотьмах совсем крошечной темени и ее звуков, свернет на накатанный проселок (будучи проложенный так давно, что никто из ныне живущих и не помнит – когда; да и не задумывается о том никто), петляющий по ровному полю-выгулу, ведряным днем густо пылящий, пыхтающий мучным, медленно рассеивающимся

облаком после каждой машины, как прежде телеги, – но ныне пустынный в ночи, затем с проселка, вихляющего уже по-над опушкой, вскоре вновь резкий левый заворот, и далее – нырок на протоптанную торопыгами тропинку, и наскрозь, через дубки – рощу, широко обнимающую извилистую речушку, таящуюся на дне оврага в глуби чащи – к себе, обратно, откуда недавно пришла. И вот так-то пойдёт, всё короткой дорогой, напрямки зачем-то. Торопиться ведь не к кому, хоть и есть куда. Никто не ждет в тихих стенах, где мерно прохаживаются одни ходики между двух нешироких окон.

Бежать ли она будет или идти неспешно шагом? Убегать от него или отдаляться? Но – навсегда.

И он не только знал весь этот ее путь домой, открытым проселком и лесными тропками, эту пару с гаком, как говорилось местными, километров (где собственно гак был еще в пять километров), в спрятанное в неглубокой ложбине у тихого, поросшего камышом и осокой, ручья, сельцо, и знойными, и морозными, и слякотными днями обозревающее единственной улицей неогороженный и, казалось, потому неустойчивый погост, по-за прозрачной акациевой рощей, на взгорке, стремящийся на винтах крестов улететь в обыкновенные, безоблачные небеса, но он и, наверняка, ведал, что появилась на этих его проводах она специально, пришла именно к нему, на встречу к нему, навстречу ему, проводить, не бояясь неизбежных пересудов. В отчаянной надежде удержать.

Ведь бывает же счастье на свете, бывает. Всё равно – бывает. Случается. Она в это верила, вера эта помогала ей жить. И девчонкой, и сейчас, после заката, – красоты, молодости, дня. Она взмахнула на ходу руками, будто радостно всплеснула, дирижируя самой себе: подымая, лишь быстро отерла ладонями щеки от слез. Совсем незаметно для окружающих.

Она обернулась, сворачивая за угол, его не было, – повернулся до дому с Митькой.

И она запела. Она всегда пела свои песни, которые сочиняла и не записывала. Она просто помнила их, не в силах забыть, хоть и много их вылилось в последние годы из тревожного, откликающегося на частые горести и редкие радости сердца. Наверное, сочиняла, чтобы и мозг был занят, а не только руки, ухаживающие за домом, хозяйством, садом. Держала и огромный, ненужный ей в таком просторе огород. Занимала себя. И корова еще, птица. Гомон жизни. И собака жила еще, и кошка у нее.

Чувствовала она, как отзывалось сердце его на каждую песню. Только тебе нравится, как я пою. Он, переставая лучисто, понимающе улыбаться, удивлялся, как так может быть. Народ же любил народные песни, а ее пока таковыми не стали.

Соседи, попервах, заслышав пение, заходили погугарить, опасаясь за нее: не случилось ли чего с головой.

Запела она, когда осталась одна, когда муж умер. А дочь уж давно жила в городе, своей семьей. Соседи поволновались, но быстро успокоились. Она осталась такой же: уверенной и размеренной. И внешне не изменилась. А в душу ведь не залезешь. Как ни пытайся расшевелить разговором.

Одиноко стала жить. И стало одиноко. Дочь не приезжала, внуков не привозила. Несколько раз по осени сама к ней выбиралась погостить. Урожай привозила в сумках. Ехать без гостинцев было отчего-то зазорно, хотя зять и не косился, молчал только всё, телевизор смотрел – бесконечный футбол, – благо спутник. Автобусами-то всего, на пе-

рекладных, четыре часа ехать. Не спеша, за неделю выкопав картошку, подсаживалась в попугайную бортовую машину, мешки водитель помогал закинуть в кузов.

И она шла и пела, о размытых влагой, приближающихся, и оттого больших, звездах и мягкой, невидимой под ногами, дороге. Словно и не знаешь, куда ты идешь, не выбирая пути. Словно ведет тебя кто-то сверху. А о том, как по стезе можно идти рука об руку с тем, кто тебе дорог, и так идти по земле без конца и края – о любви, – петь не хотелось. Простые слова помогали пережить, переживать и проживать выпавшую на долю участь. Которую осталось доживать. Так рано, так рано всё закончилось, не успев и начаться. Всё пройдет, и скоро и ей уходить.

Они уж совсем собрались заходить в дом (задержались на крыльце; он, одновременно говоря и думая о ней, отвечал на почтительные вопросы хозяина), вторую сигарету под беседу докурил Дмитрий, тщательно сминая сапогом окурки на цементном дворе, как появился, нарисовавшись узким бестелесным призраком, тощий Михеич. Третьим, закругляя мужскую компанию до нужного числа. О чем и пошутил, достав из-за полы кургузого пиджака, нагретую в нагрудном кармане, короткошею початую бутылку с любовно очищенным самогоном, припрятанным от злюки-змеюки-жены: предложил. Он отказался. Дмитрий же гостя и горластого соседа не обидел.

Выбежал Михеич до ветру, в кусты, не прельщаясь будкой туалета. О чем и поведал, похохатывая, с колоритными подробностями: запутался в колючих ветвях. Могли случиться и тяжелые для будущего наследства последствия. Темно, да и некогда разбирать жаждущему опорожниться страждущему. Михеич опять хохотнул, оторвав смачно залипшие губы от горлышка, и сообщил, что видал Марию. Оглядывалась она, задержалась у угла, где улица переходила в дорогу, выбегающую в поле.

Еще раз оглянулась, ждала, значит, что он проводит, надеялась. Надеялась, решится он пойти вслед ей.

Сидя за столом, окруженный поющими протяжные и вольные, как степь, песни людьми, он вспоминал, как впервые оказался в ее хате три года назад, попав на ее день рождения (сорок семь, не жеманясь, сообщила она), намечавшийся отмечаться вдвоем с рыхлым брюзгой мужем, когда в первый раз приехал в это приграничное село Грайворонского района на Белгородчине, где за четыре дня до того умер его отец. Давно ушедший от его матери, от детей, и от него, из семьи, поселившийся в этих местах у новой жены, встреченной им в длительной командировке геологоразведывательной партии. И он, единственный из всех, ни два его брата, ни, естественно, мать, тем более боля, – да и не простила она бывшего мужа, – не поехали, неожиданно собрал чемодан и поехал к отцу, узнав о его смерти. Друг детства отца, поддерживавший с ним переписку, сообщил. Но на похороны он опоздал, вернее и не мог успеть, так как далеко.

Под вечер нашел свежую могилу, убранную кольцом из пластиковых венков после недавнего погребения, на уже пустынном сельском кладбище. Посидел на сварной металлической лавочке под вытягивающимся к нарождающемуся серпику месяца ясенем у соседнего холмика, уже обжитого осиротевшими родственниками некоего Остапчука. Затем вернулся в недавно пройденное по дороге на кладбище вытянутое вдоль улицы село, чтобы найти ночлег. Ему хотелось утром вернуться на могилу. В оборванные навсегда узы кровного родства еще не верилось, память детства, тепло общения с отцом, не отпускали никогда, заставляя многожды думать и страдать от воспоминаний. И зашел в первую хату, где призывно горел рано зажженный свет. И он потянулся на этот огонь.

Промолчал в тот вечер о причине приезда, не желая портить новым знакомым тихое маленькое торжество. Лишь поинтересовался с порога фамилией приютившей отзывчивой четы, где инициативой владела она. На всякий случай, чтобы не попасть в семью отца, состав которой даже точно не знал. Удовлетворяя любопытство хозяев, весь вечер рассказывал о своих научных работах и поездках. И видел, с каким интересом она смотрит, и как вспыхнула, когда их пальцы столкнулись: подавала кушанье.

Мария потом взялась помочь, весь год ухаживала за могилой отца, сажала цветы, убирала, выпалывала сорняки. А однажды ночью, в следующий приезд, он вновь спал на тахе в соседней со спальней хозяев комнате, в хате, где у комнат нет дверей, а только цветастые ситцевые занавески в проемах меж белых наличников, и она осторожно подошла к его постели от спящего и сопящего зобом во сне мужа, и в поскрипывающей переминающимися от неуверенности половицами темноте очень долго стояла неподалеку от его кровати, – а он притворялся, что спит. И, похоже, она понимала, чувствовала, что он не спит. Так долго она ожидала, стояла и ждала, растягивая тикающие мгновения уходящей в прошлое жизни. Темнота не позволяла увидеть ее, только светлело пятно ночной сорочки, приближая зарю.

Тот год, поутру, он уехал, – чтоб вернуться опять этим летом, в отпуск, последний перед пенсией, – Митя Мельник, шофер, живший в соседнем большом селе, подбросивший однажды на своем КамАЗе, повез его на поезд.

Сегодня она не пошла сразу домой, заглянула на могилу мужа, посидеть около, обняв руками колени, помолчала с ним вдвоем, и не пела. Село давно затихло внизу, в ногах, у подножья холма. Ночь объяла ее теплыми крылами за сдвинутые вперед плечи, обнявшие бьющееся сердце. Светила огромная, жидко желтая, вся в серых потеках слез, луна. Изредка пролетали спутники, где-то в городе зять пользовался их сигналами, дочь же и внуки спокойно почивали и видели легкие быстротечные сны. И она была счастлива тому.

А он, убедив разгоряченное общество, что его внезапный отъезд необходим по работе – вызывают – сидел на скамейке, на станции, оставленный ожидать проходящий поезд незнакомым, но трезвым Мельниковым – знакомцем, польстившимся на деньги. Сидел и думал, что жизнь может ветвиться, пути-дороги те неисповедимы нам, и каждый человек, и его душа, настолько огромны, что вмещают весь мир во всем его многообразии.

Думал о жене, оставленной далеко, не понимающей поездок к несуществующему для ее понимания отцу, которого он не видел сызмальства, вспоминал ее, к которой теперь ехал, возвращаясь домой. И размышлял о жизни с женой: вижу твои глаза, слышу твой голос, вижу лицо, а о чем ты думаешь – не знаю. Он изменил однажды, ей сообщили доброхоты. И с тех пор знал, что если ушел из дома, то она и об этом наверняка думала, обязательно думала, он точно это знал. И это влияло на его жизнь, на него, на их отношения, и на его отношение к жене. И лучше бы не знать вовсе, о чем она думает теперь. А о чем еще думает, – кроме того, о чем он знает, – того он не знал.

Звезды щедро окропили ночь, над их склоненными долу головами качались длинные метлы веток тополя, – не в силах смести с небес россыпи миров.

Она встала, отряхнула платье, сняла босоножки, и босиком пошла домой, – торопиться было некуда. Он уехал к жене, с ней он жил намного дольше, чем без нее.

Близился рассвет, расставляющий всё на свои места.